

I

Весенний, светлый день клонился к вечеру, небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури.

Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О... (дело происходило в 1842 году), сидели две женщины: одна лет пятидесяти, другая уже старушка, семидесяти лет.

Первую из них звали Марьей Дмитриевной Калитиной. Ее муж, бывший губернский прокурор, известный в свое время делец, — человек бойкий и решительный, желчный и упрямый, — умер лет десять тому назад. Он получил изрядное воспитание, учился в университете, но, рожденный в сословии бедном, рано понял необходимость проложить себе дорогу и набить деньги. Марья Дмитриевна вышла за него по любви: он был недурен собою, умен и, когда хотел, очень любезен. Марья Дмитриевна (в девицах Пестова) еще в детстве лишилась родителей, провела несколько лет в Москве, в институте, и, вернувшись оттуда, жила в пятидесяти верстах от О..., в родовом своем селе Покровском, с теткой да с старшим братом.

Брат этот скоро переселился в Петербург на службу и держал и сестру и тетку в черном теле, пока внезапная смерть не положила предела его поприщу. Марья Дмитриевна наследовала Покровское, но недолго жила в нем; на второй же год после ее свадьбы с Калитиным, который в несколько дней успел покорить ее сердце, Покровское было променено на другое имение, гораздо более доходное, но некрасивое и без усадьбы, и в то же время Калитин приобрел дом в городе О..., где и поселился с женою на постоянное жительство. При доме находился большой сад; одной стороной он выходил прямо в поле, за город. «Стало быть, — решил Калитин, большой неохотник до сельской тишины, — в деревню таскаться незачем». Марья Дмитриевна не раз в душе пожалела о своем хорошеньком Покровском с веселой речкой, широкими лугами и зелеными рощами; но она ни в чем не прекословила мужу и благоговела пред его умом и знанием света. Когда же, после пятнадцатилетнего брака, он умер, оставив сына и двух дочерей, Марья Дмитриевна уже до того привыкла к своему дому и к городской жизни, что сама не захотела выехать из О...

Марья Дмитриевна в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки; и в пятьдесят лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более чувствительна, нежели добра, и до зрелых лет сохранила институтские замашки; она избаловала себя, легко раздражалась и даже плакала, когда нарушались ее привычки; зато она была очень ласкова и любезна, когда все ее желания исполнялись и никто ей не прекословил. Дом ее принадлежал

к числу приятнейших в городе. Состояние у ней было весьма хорошее, не столько наследственное, сколько благоприобретенное мужем. Обе дочери жили с нею; сын воспитывался в одном из лучших казенных заведений в Петербурге.

Старушка, сидевшая с Марьей Дмитриевной под окошком, была та самая тетка, сестра ее отца, с которою она провела некогда несколько уединенных лет в Покровском. Звали ее Марфой Тимофеевной Пестовой. Она слыла чудачкой, нрав имела независимый, говорила всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась так, как будто за ней водились тысячи. Она терпеть не могла покойного Калитина, и как только ее племянница вышла за него замуж, удалилась в свою деревушку, где прожила целых десять лет у мужика в курной избе. Марья Дмитриевна ее побаивалась. Черноволосая и быстроглазая даже в старости, маленькая, востроносая, Марфа Тимофеевна ходила живо, держалась прямо и говорила скоро и внятно, тонким и звучным голосом. Она постоянно носила белый чепец и белую кофту.

— О чем ты это? — спросила она вдруг Марью Дмитриевну. — О чем вздыхаешь, мать моя?

— Так, — промолвила та. — Какие чудесные облака!

— Так тебе их жалко, что ли?

Марья Дмитриевна ничего не отвечала.

— Что это Гедеоновский нейдет? — проговорила Марфа Тимофеевна, проворно шевеля спицами (она вязала большой шерстяной шарф). — Он бы повздыхал вместе с тобою — не то соврал бы что-нибудь.

— Как вы всегда строго о нем отзываетесь! Сергей Петрович — почтенный человек.

— Почтенный! — повторила с укоризной старушка.

— И как он покойному мужу был предан! — проговорила Марья Дмитриевна. — До сих пор вспомнить о нем равнодушно не может.

— Еще бы! Тот его за уши из грязи вытащил, — проворчала Марфа Тимофеевна, и спицы еще быстрее заходили в ее руках.

— Глядит таким смиренным, — начала она снова, — голова вся седая, а что рот раскроет, то солжет или насплетничает. А еще статский советник! Ну, и то сказать: попович!

— Кто же без греха, тетушка? Эта слабость в нем есть, конечно. Сергей Петрович воспитания, конечно, не получил, по-французски не говорит; но он, воля ваша, приятный человек.

— Да, он ручки у тебя все лижет. По-французски не говорит — эка беда! Я сама не сильна во французском «диалехте». Лучше бы он ни по-каковски не говорил: не лгал бы. Да вот он, кстати, легок на помине, — прибавила Марфа Тимофеевна, глянув на улицу. — Вон он шагает, твой приятный человек. Экой длинный, словно аист!

Марья Дмитриевна поправила свои локоны. Марфа Тимофеевна с усмешкой посмотрела на нее.

— Что это у тебя, никак седой волос, мать моя? Ты побрани свою Палашку. Чего она смотрит?

— Уж вы, тетушка, всегда... — пробормотала с досадой Марья Дмитриевна и застучала пальцами по ручке кресел.

— Сергей Петрович Гедеоновский! — пропищал краснощекий казачок, выскочив из-за двери.

II

Вошел человек высокого роста, в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках — одном черном сверху, другом белом снизу. Все в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко причесанных висков до сапогов без каблуков и без скрипу. Он поклонился сперва хозяйке дома, потом Марфе Тимофеевне и, медленно ставив перчатки, подошел к ручке Марьи Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза сряду, он сел не торопясь в кресла и с улыбкой, потирая самые кончики пальцев, проговорил:

— А Елизавета Михайловна здоровы?

— Да, — отвечала Марья Дмитриевна, — она в саду.

— И Елена Михайловна?

— Леночка в саду тоже. Нет ли чего новенького?

— Как не быть-с, как не быть-с, — возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы. — Гм!.. да вот пожалуйста, есть новость, и преудивительная: Лаврецкий Федор Иванович приехал.

— Федя! — воскликнула Марфа Тимофеевна. — Да ты, полно, не сочиняешь ли, отец мой?

— Никак нет-с, я их самолично видел.

— Ну, это еще не доказательство.

— Очень поздоровели, — продолжал Гедеоновский, показывая вид, будто не слышал замечания Марфы Тимофеевны, — в плечах еще шире стали, и румянец во всю щеку.

— Поздоровел, — произнесла с расстановкой Марья Дмитриевна, — кажется, с чего бы ему здороветь?

— Да-с, — возразил Гедеоновский, — другой на его месте и в свет-то показаться посовестился бы.

— Это отчего? — перебила Марфа Тимофеевна. — Это что за вздор? Человек возвратился на родину — куда ж ему деться прикажете? И благо он в чем виноват был!

— Муж всегда виноват, сударыня, осмелюсь вам доложить, когда жена нехорошо ведет себя.

— Это ты, батюшка, оттого говоришь, что сам женат не был.

Гедеоновский принужденно улыбнулся.

— Позвольте полюбопытствовать, — спросил он после небольшого молчания, — кому назначается этот миленький шарф?

Марфа Тимофеевна быстро взглянула на него.

— А тому назначается, — возразила она, — кто никогда не сплетничает, не хитрит и не сочиняет, если только есть на свете такой человек. Федю я знаю хорошо; он только тем и виноват, что баловал жену. Ну, да и женился он по любви, а из этих из любовных свадеб ничего путного никогда не выходит, — прибавила старушка, косвенно взглянув на Марью Дмитриевну и вставая. — А ты теперь, мой батюшка, на ком угодно зубки точи, хоть на мне; я уйду, мешать не буду. — Марфа Тимофеевна удалилась.

— Вот она всегда так, — проговорила Марья Дмитриевна, проводив свою тетку глазами, — всегда!

— Лета ихние! Что делать-с! — заметил Гедеоновский. — Вот они изволят говорить: кто не хитрит. Да кто нонеча не хитрит? Век уж такой. Один мой приятель, препочтенный и, доложу вам, не малого чина человек, говаривал: что нонеча, мол,

курица, и та с хитростью к зерну приближается — все норовит, как бы сбоку подойти. А как погляжу я на вас, моя барыня, нрав-то у вас истинно ангельский; пожалуйте-ка мне вашу белоснежную ручку.

Марья Дмитриевна слабо улыбнулась и протянула Гедеоновскому свою пухлую руку с отделенным пятым пальчиком. Он приложился к ней губами, а она пододвинула к нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила вполголоса:

— Так видели вы его? В самом деле он — ничего, здоров, весел?

— Весел-с, ничего-с, — возразил Гедеоновский шепотом.

— А не слышали вы, где его жена теперь?

— В последнее время в Париже была-с; теперь, слышно, в итальянское государство переселилась.

— Это ужасно, право, — Федино положение; я не знаю, как он переносит. Случаются, точно, несчастья со всяким; но ведь его, можно сказать, на всю Европу распустили.

Гедеоновский вздохнул.

— Да-с, да-с. Ведь она, говорят, и с артистами, и с пьянистами, и как там по-ихнему, со львами да со зверями знакомство вела. Стыд потеряла совершенно...

— Очень, очень жалко, — проговорила Марья Дмитриевна. — По родственному, ведь он мне, Сергей Петрович, вы знаете, внучатный племянник.

— Как же-с, как же-с. Как мне не знать-с всего, что до вашего семейства относится? Помилуйте-с.

— Придет он к нам, как вы думаете?

— Должно полагать-с; а впрочем, они, слышно, к себе в деревню собираются.

Марья Дмитриевна подняла глаза к небу.

— Ах, Сергей Петрович, Сергей Петрович, как я подумаю, как нам, женщинам, нужно осторожно вести себя!

— Женщина женщине рознь, Марья Дмитриевна. Есть, к несчастью, такие — нрава непостоянного... ну, и лета; опять правила не внушены сызмала. (Сергей Петрович достал из кармана клетчатый синий платок и начал его развертывать.) Такие женщины, конечно, бывают. (Сергей Петрович поднес угол платка поочередно к своим глазам.) Но вообще говоря, если рассудить, то есть... Пыль в городе необыкновенная, — заключил он.

— *Матап, татап*, — вскричала, вбегая в комнату, смазливая девочка лет одиннадцати, — к нам Владимир Николаич верхом едет!

Марья Дмитриевна встала; Сергей Петрович тоже встал и поклонился. «Елене Михайловне наше нижайшее», — проговорил он и, отойдя в угол для приличия, принялся сморкать свой длинный и правильный нос.

— Какая у него чудесная лошадь! — продолжала девочка. — Он сейчас был у калитки и сказал нам с Лизой, что к крыльцу подъедет.

Послышался топот копыт, и стройный всадник на красивом гнедом коне показался на улице и остановился перед раскрытым окном.

III

— Здравствуйте, Марья Дмитриевна! — воскликнул звучным и приятным голосом всадник. — Как вам нравится моя новая покупка?

Марья Дмитриевна подошла к окну.

— Здравствуйте, Woldemar! Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?

— У ремонтера... Дорого взял, разбойник.

— Как ее зовут?

— Орландом... Да это имя глупо; я хочу переменить... Eh bien, eh bien, mon garçon...¹ Какой неугомонный!

Конь фыркал, переступал ногами и махал опененною мордой.

— Леночка, погладьте ее, не бойтесь...

Девочка протянула из окна руку, но Орланд вдруг взвился на дыбы и бросился в сторону. Всадник не потерялся, взял коня в шенкеля, вытянул его хлыстом по шее и, несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном.

— Prenez garde, prenez garde², — твердила Марья Дмитриевна.

— Леночка, поласкайте его, — возразил всадник, — я не позволю ему вольничать.

Девочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орланда, который беспрестанно вздрагивал и грыз удила.

— Браво! — воскликнула Марья Дмитриевна. — А теперь слезьте и придите к нам.

Всадник лихо повернул коня, дал ему шпоры и, проскакав коротким галопом по улице, въехал на двор. Минуту спустя он вбежал, помахивая хлыстиком, из двери передней в гостиную; в то же время на пороге другой двери показалась стройная, высокая черноволосая девушка лет девятнадцати — старшая дочь Марьи Дмитриевны, Лиза.

¹ Ну, ну, мой мальчик... (фр.)

² Осторожнее, осторожнее (фр.).

IV

Молодой человек, с которым мы только что познакомили читателей, прозывался Владимиром Николаичем Паншиным. Он служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в министерстве внутренних дел. В город О... он приехал для исполнения временного казенного поручения и состоял в распоряжении губернатора, генерала Зонненберга, которому доводился дальним родственником. Отец Паншина, отставной штабс-ротмистр, известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготней в губах, весь свой век терся между знатью, посещал английские клубы обеих столиц и слыл за ловкого, не очень надежного, но милого и задушевного малого. Несмотря на всю свою ловкость, он находился почти постоянно на самом рубеже нищеты и оставил своему единственному сыну состояние небольшое и расстроенное. Зато он по-своему заботился об его воспитании: Владимир Николаич говорил по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и следует: порядочным людям стыдно говорить хорошо по-немецки; но пускать в ход германское словцо, в некоторых, большею частью забавных, случаях — можно, *c'est même très chic*¹, как выражаются петербургские парижане. Владимир Николаич с пятнадцатилетнего возраста уже умел не смущаясь войти в любую гостиную, приятно повертеться в ней и кстати удалиться. Отец Паншина доставил сыну своему много связей; тасуя карты между двумя роббера-

¹ Это — самый шик (*фр.*).

ми или после удачного «большого шлема», он не пропускал случая запустить словечко о своем «Володыке» какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческих игр. С своей стороны, Владимир Николаич во время пребывания в университете, откуда он вышел с чином действительного студента, познакомился с некоторыми знатными молодыми людьми и стал вхож в лучшие дома. Его везде охотно принимали; он был очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на все готов; где нужно — почтителен, где можно — дерзок, отличный товарищ, *un charmant garçon*¹. Заветная область раскрылась перед ним. Паншин скоро понял тайну светской науки; он умел проникнуться действительным уважением к ее уставам, умел с полунасмешливой важностью заниматься вздором и показать вид, что почитает все важное за вздор; танцевал отлично, одевался по-английски. В короткое время он прослыл одним из самых любезных и ловких молодых людей в Петербурге. Паншин был действительно очень ловок — не хуже отца; но он был также очень даровит. Все ему далось: он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене. Ему всего пошел двадцать восьмой год, а он был уже камер-юнкером и чин имел весьма изрядный. Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою проницательность; он шел вперед смело и весело, полным махом; жизнь его текла как по маслу. Он привык нравиться всем, старому и малому, и воображал, что знает людей, особенно женщин: он хорошо знал их обыденные слабости. Как человек не чуждый художеству, он

¹ Очаровательный малый (*фр.*).

чувствовал в себе и жар, и некоторое увлечение, и восторженность, и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил: кутил, знакомился с лицами, не принадлежавшими к свету, и вообще держался вольно и просто; но в душе он был холоден и хитер, и во время самого буйного кутежа его умный карий глазок все караулил и высматривал; этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться и увлечься вполне. К чести его должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марьи Дмитриевны он попал тотчас по приезде в О... и скоро освоился в нем совершенно. Марья Дмитриевна в нем души не чаяла.

Паншин любезно раскланялся со всеми находившимися в комнате, пожал руку у Марьи Дмитриевны и у Лизаветы Михайловны, слегка потрепал Гедеоновского по плечу и, повернувшись на каблуках, поймал Леночку за голову и поцеловал ее в лоб.

— И вы не боитесь ездить на такой злой лошади? — спросила его Марья Дмитриевна.

— Помилуйте, она пресмирная; а вот, я доложу вам, чего я боюсь: я боюсь играть в преферанс с Сергеем Петровичем; вчера у Беленицыных он обыграл меня в пух.

Гедеоновский засмеялся тоненьким и подобострастным смехом: он заискивал в молодом блестящем чиновнике из Петербурга, губернаторском любимце. В разговорах своих с Марьей Дмитриевной он часто упоминал о замечательных способностях Паншина. Ведь вот, рассуждал он, как не похвалить? И в высшей сфере жизни успевает молодой человек, и служит примерно, и гордости ни

малейшей. Впрочем, Паншина и в Петербурге считали дельным чиновником: работа кипела у него в руках; он говорил о ней шутя, как оно и следует светскому человеку, не придающему особенного значения своим трудам, но был «исполнитель». Начальники любят таких подчиненных; сам он не сомневался в том, что, если захочет, будет со временем министром.

— Вы изволите говорить, что я обыграл вас, — промолвил Гедеоновский, — а на прошлой неделе кто у меня выиграл двенадцать рублей? Да еще...

— Злодей, злодей, — перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной небрежностью и, не обращая более на него внимания, подошел к Лизе.

— Я не мог найти здесь увертюру Оберона, — начал он. — Беленицына только хвасталась, что у ней вся классическая музыка, — на деле у ней, кроме полек и вальсов, ничего нет; но я уже написал в Москву, и через неделю вы будете иметь эту увертюру. Кстати, — продолжал он, — я написал вчера новый романс; слова тоже мои. Хотите, я вам спою? Не знаю, что из этого вышло; Беленицына нашла его премиленьким, но ее слова ничего не значат — я желаю знать ваше мнение. Впрочем, я думаю, лучше после.

— Зачем же после? — вмешалась Марья Дмитриевна. — Отчего же не теперь?

— Слушаю-с, — промолвил Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой, которая у него и появлялась и пропадала вдруг, — пододвинул коленом стул, сел за фортепьяно и, взявши несколько аккордов, запел, четко отделяя слова, следующий романс:

Луна плывет высоко над землею
Меж бледных туч;
Но движет с вышины волной морскою
Волшебный луч.

Моей души тебя признало море
Своей луной,
И движется — и в радости и в горе —
Тобой одной.

Тоской любви, тоской немых стремлений
Душа полна;
Мне тяжело... Но ты чужда смятений,
Как та луна.

Второй куплет был спет Паншиным с особенным выражением и силой; в бурном аккомпанементе слышались переливы волн. После слов: «Мне тяжело...» — он вздохнул слегка, опустил глаза и понизил голос — *morendo*¹. Когда он кончил, Лиза похвалила мотив, Марья Дмитриевна сказала: «Прелестно», а Гедеоновский даже крикнул: «Восхитительно! И поэзия, и гармония одинаково восхитительны!..» Леночка с детским благоговением посмотрела на певца. Словом, всем присутствовавшим очень понравилось произведение молодого дилетанта; но за дверью гостиной в передней стоял только что пришедший, уже старый человек, которому, судя по выражению его потупленного лица и движениям плечей, романс Паншина, хотя и премиленький, не доставил удовольствия. Подождав немного и смахнув пыль с сапогов толстым носовым платком, человек этот внезапно съежил глаза,

¹ Замирая (*ит.*).

угрюмо сжал губы, согнул свою, и без того сутулую, спину и медленно вошел в гостиную.

— А! Христофор Федорыч, здравствуйте! — воскликнул прежде всех Паншин и быстро вскочил со стула. — Я и не подозревал, что вы здесь, — я бы при вас ни за что не решился спеть свой романс. Я знаю, вы не охотник до легкой музыки.

— Я не слушитель, — произнес дурным русским языком вошедший человек и, раскланявшись со всеми, неловко остановился посреди комнаты.

— Вы, мосье Лемм, — сказала Марья Дмитриевна, — пришли дать урок музыки Лизе?

— Нет, не Лисафет Михайловне, а Елен Михайловне.

— А! Ну, что ж — прекрасно. Леночка, ступай наверх с господином Леммом.

Старик пошел было вслед за девочкой; но Паншин остановил его.

— Не уходите после урока, Христофор Федорыч, — сказал он, — мы с Лизаветой Михайловной сыграем бетховенскую сонату в четыре руки.

Старик проворчал себе что-то под нос, а Паншин продолжал по-немецки, плохо выговаривая слова:

— Мне Лизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли, — прекрасная вещь! Вы, пожалуйста, не думайте, что я не умею ценить серьезную музыку, — напротив: она иногда скучна, но зато очень полезительна.

Старик покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты.

Марья Дмитриевна попросила Паншина повторить романс; но он объявил, что не желает ос-

корблять ушей ученого немца, и предложил Лизе заняться бетховенскою сонатой. Тогда Марья Дмитриевна вздохнула и, с своей стороны, предложила Гедеоновскому пройтись с ней по саду. «Мне хочется, — сказала она, — еще поговорить и посоветоваться с вами о бедном нашем Феде». Гедеоновский осклабился, поклонился, взял двумя пальцами свою шляпу с аккуратно положенными на одном из ее полей перчатками и удалился вместе с Марьей Дмитриевной. В комнате остались Паншин и Лиза: она достала и раскрыла сонату; оба молча сели за фортепьяно. Сверху доносились слабые звуки гамм, разыгрываемых неверными пальчиками Леночки.

V

Христофор Теодор Готлиб Лемм родился в 1786 году, в королевстве Саксонском, в городе Хемнице, от бедных музыкантов. Отец его играл на валторне, мать на арфе; сам он уже по пятому году упражнялся на трех различных инструментах. Восьми лет он осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе кусок хлеба своим искусством. Он долго вел бродячую жизнь, играл везде — и в трактирах, и на ярмарках, и на крестьянских свадьбах, и на балах; наконец попал в оркестр и, подвигаясь все выше и выше, достиг дирижерского места. Исполнитель он был довольно плохой; но музыку знал основательно. На двадцать восьмом году переселился он в Россию. Его выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр из чванства. Лемм прожил у него лет семь в качестве капельмейстера и отошел от него

с пустыми руками: барин разорился, хотел дать ему на себя вексель, но впоследствии отказал ему и в этом, — словом, не заплатил ему ни копейки. Ему советовали уехать; но он не хотел вернуться домой нищим из России, из великой России, этого золотого дна артистов; он решился остаться и испытать свое счастье. В течение двадцати лет бедный немец пытал свое счастье: побывал у различных господ, жил и в Москве, и в губернских городах, терпел и сносил многое, узнал нищету, бился как рыба об лед; но мысль о возвращении на родину не покидала его среди всех бедствий, которым он подвергался; она только одна его и поддерживала. Судьбе, однако, не было угодно порадовать его последним и первым счастьем: пятидесяти лет, больной, до времени одряхлевший, застрял он в городе О... и остался в нем навсегда, уже окончательно потеряв всякую надежду покинуть ненавистную ему Россию и кое-как поддерживая уроками свое скудное существование. Наружность Лемма не располагала в его пользу. Он был небольшого роста, сутуловат, с криво выдавшимися лопатками и втянутым животом, с большими плоскими ступнями, с бледно-синими ногтями на твердых, не разгибавшихся пальцах жилистых красных рук; лицо имел морщинистое, впалые щеки и сжатые губы, которыми он беспрестанно двигал и жевал, что, при его обычной молчаливости, производило впечатление почти зловещее; седые его волосы висели клочьями над невысоким лбом; как только что залитые угольки, глухо тлели его крошечные, неподвижные глазки; ступал он тяжело, на каждом шагу перекидывая свое неповоротливое тело. Иные

его движения напоминали неуклюжее охорашивание совы в клетке, когда она чувствует, что на нее глядят, а сама едва видит своими огромными, желтыми, пугливо и дремотно моргающими глазами. Застарелое, неумолимое горе положило на бедного музыкуса свою неизгладимую печать, искривило и обезобразило его и без того невзрачную фигуру; но для того, кто умел не останавливаться на первых впечатлениях, что-то доброе, честное, что-то необыкновенное виднелось в этом полуразрушенном существе. Поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью мысли, которая доступна одному германскому племени, Лемм со временем — кто знает? — стал бы в ряду великих композиторов своей родины, если б жизнь иначе его повела; но не под счастливой звездой он родился! Он много написал на своем веку — и ему не удалось увидеть ни одного своего произведения изданным; не умел он приняться за дело, как следовало, поклониться кстати, похлопотать вовремя. Как-то, давным-давно тому назад, один его поклонник и друг, тоже немец и тоже бедный, издал на свой счет две его сонаты — да и те остались целиком в подвалах музыкальных магазинов; глухо и бесследно провалились они, словно их ночью кто в реку бросил. Лемм наконец махнул рукой на все; притом и годы брали свое: он зачерствел, одеревенел, как пальцы его одеревенели. Один, с старой кухаркой, взятой им из богадельни (он никогда женат не был), проживал он в О... в небольшом домишке, недалеко от калитинского дома; много гулял, читал Библию, да собрание протестантских псалмов, да Шекспира

в шлегелевском переводе. Он давно ничего не сочинял; но, видно, Лиза, лучшая его ученица, умела его расшевелить: он написал для нее кантату, о которой упомянул Паншин. Слова этой кантаты были им заимствованы из собрания псалмов; некоторые стихи он сам присочинил. Ее пели два хора — хор счастливых и хор несчастливцев; оба они к концу примирялись и пели вместе: «Боже милостивый, помилуй нас, грешных, и отжени от нас всякие лукавые мысли и земные надежды». На заглавном листе, весьма тщательно написанном и даже разрисованном, стояло: «Только праведные правы. Духовная кантата. Сочинена и посвящена девице Елизавете Калитиной, моей любезной ученице, ее учителем, Х. Т. Г. Леммом». Слова: «Только праведные правы» и «Елизавете Калитиной» были окружены лучами. Внизу было приписано: «Для вас одних, für Sie allein». — Оттого-то Лемм и покраснел и взглянул искоса на Лизу; ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его кантате.

VI

Паншин громко и решительно взял первые аккорды сонаты (он играл вторую руку), но Лиза не начинала своей партии. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствие; губы ее не улыбались, все лицо было строго, почти печально.

— Что с вами? — спросил он.

— Зачем вы не сдержали своего слова? — сказала она. — Я вам показала кантату Христофора

Федорыча под тем условием, чтоб вы не говорили ему о ней.

— Виноват, Лизавета Михайловна, — к слову пришлось.

— Вы его огорчили — и меня тоже. Теперь он и мне доверять не будет.

— Что прикажете делать, Лизавета Михайловна! От молодых ногтей не могу видеть равнодушно немца: так и подмывает меня его подразнить.

— Что вы это говорите, Владимир Николаич! Этот немец, бедный, одинокий, убитый человек — и вам его не жаль? Вам хочется дразнить его?

Паншин смутился.

— Вы правы, Лизавета Михайловна, — промолвил он. — Всею виною — моя вечная необдуманность. Нет, не возражайте мне; я себя хорошо знаю. Много зла мне наделала моя необдуманность. По ее милости я прослыл за эгоиста.

Паншин помолчал. С чего бы ни начинал он разговор, он обыкновенно кончал тем, что говорил о самом себе, и это выходило у него как-то мило и мягко, задушевно, словно невольно.

— Вот и в вашем доме, — продолжал он, — матушка ваша, конечно, ко мне благоволит — она такая добрая; вы... впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне; зато ваша тетушка просто меня терпеть не может. Я ее тоже, должно быть, обидел каким-нибудь необдуманным, глупым словом. Ведь она меня не любит, не правда ли?

— Да, — произнесла Лиза с небольшой запинкой, — вы ей не нравитесь.

Паншин быстро провел пальцами по клавишам; едва заметная усмешка скользнула по его губам.

— Ну, а вы? — промолвил он. — Я вам тоже кажусь эгоистом?

— Я вас еще мало знаю, — возразила Лиза, — но я вас не считаю за эгоиста; я, напротив, должна быть благодарна вам...

— Знаю, знаю, что вы хотите сказать, — перебил ее Паншин и снова пробежал пальцами по клавишам, — за ноты, за книги, которые я вам приношу, за плохие рисунки, которыми я украшаю ваш альбом, и так далее, и так далее. Я могу все это делать — и все-таки быть эгоистом. Смею думать, что вы не скучаете со мною и что вы не считаете меня за дурного человека, но все же вы полагаете, что я — как бишь это сказано? — для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля.

— Вы рассеянны и забывчивы, как все светские люди, — промолвила Лиза, — вот и все.

Паншин немного нахмурился.

— Послушайте, — сказал он, — не будемте больше говорить обо мне; станемте разыгрывать нашу сонату. Об одном только прошу я вас, — прибавил он, разглаживая рукою листы лежавшей на пюпитре тетради: — Думайте обо мне, что хотите, называйте меня даже эгоистом — так и быть! Но не называйте меня светским человеком; эта кличка мне нестерпима... *Anch'io sono pittore*¹. Я тоже артист, хотя плохой, и это, а именно то, что я плохой артист, — я вам докажу сейчас же на деле. Начнем же.

— Начнем, пожалуй, — сказала Лиза.

Первое *adagio* прошло довольно благополучно, хотя Паншин неоднократно ошибался. Свое и заученное он играл очень мило, но разбирал плохо.

¹ И я тоже художник (*ит.*).

Зато вторая часть сонаты — довольно быстрое *allegro* — совсем не пошла: на двадцатом такте Паншин, отставший такта на два, не выдержал и со смехом отодвинул свой стул.

— Нет! — воскликнул он. — Я не могу сегодня играть; хорошо, что Лемм нас не слышал: он бы в обморок упал.

Лиза встала, закрыла фортепьяно и обернулась к Паншину.

— Что же мы будем делать? — спросила она.

— Узнаю вас в этом вопросе! Вы никак не можете сидеть сложа руки. Что ж, если хотите, давайте рисовать, пока еще не совсем стемнело. Авось другая муза — муза рисования, как бишь ее звали? позабыл... будет ко мне благосклоннее. Где ваш альбом? Помнится, там мой пейзаж не кончен.

Лиза пошла в другую комнату за альбомом, а Паншин, оставшись один, достал из кармана батистовый платок, потер себе ногти и посмотрел, как-то скосясь, на свои руки. Они у него были очень красивые и белые; на большом пальце левой руки носил он винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась; Паншин уселся к окну, развернул альбом.

— Ага! — воскликнул он. — Я вижу, вы начали срисовывать мой пейзаж — и прекрасно. Очень хорошо! Вот тут только — дайте-ка карандаш — не довольно сильно положены тени. Смотрите.

И Паншин размашисто проложил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж: на первом плане большие расстрепанные деревья, в отдаленье поляну и зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу.

— В рисунке, да и вообще в жизни, — говорил Паншин, сгибая голову то направо, то налево, — легкость и смелость — первое дело.

В это мгновение вошел в комнату Лемм и, сухо поклонившись, хотел удалиться; но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу.

— Куда же вы, любезный Христофор Федорыч? Разве вы не остаетесь чай пить?

— Мне домой, — проговорил Лемм угрюмым голосом, — голова болит.

— Ну, что за пустяки — останьтесь. Мы с вами поспорим о Шекспире.

— Голова болит, — повторил старик.

— А мы без вас принялись было за бетховенскую сонату, — продолжал Паншин, любезно взяв его за талию и светло улыбаясь, — но дело совсем на лад не пошло. Вообразите, я не мог две ноты сряду взять верно.

— Вы бы опять спел сфой романце лутчи, — возразил Лемм, отводя руки Паншина, и вышел вон.

Лиза побежала вслед за ним. Она догнала его на крыльце.

— Христофор Федорыч, послушайте, — сказала она ему по-немецки, провожая его до ворот по зеленой короткой травке двора, — я виновата перед вами — простите меня.

Лемм ничего не отвечал.

— Я показала Владимиру Николаевичу вашу кантату; я была уверена, что он ее оценит, — и она точно очень ему понравилась.

Лемм остановился.

— Это ничего, — сказал он по-русски и потом прибавил на родном своем языке: — Но он не может ничего понимать: как вы этого не видите? Он дилетант — и все тут!

— Вы к нему несправедливы, — возразила Лиза, — он все понимает и сам почти все может сделать.

— Да, все второй номер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он этим доволен — ну и браво. А я не сержусь; эта кантата и я — мы оба старые дураки; мне немножко стыдно, но это ничего.

— Простите меня, Христофор Федорыч, — проговорила снова Лиза.

— Ничего, ничего, — повторил он опять по-русски, — вы добрая девушка... а вот кто-то к вам идет. Прощайте. Вы очень добрая девушка.

И Лемм уторопленным шагом направился к воротам, в которые входил какой-то незнакомый ему господин, в сером пальто и широкой соломенной шляпе. Вежливо поклонившись ему (он кланялся всем новым лицам в городе О...; от знакомых он отворачивался на улице — такое уж он положил себе правило), Лемм прошел мимо и исчез за забором. Незнакомец с удивленьем посмотрел ему вслед и, взглядевшись в Лизу, пошел прямо к ней.

VII

— Вы меня не узнаете, — промолвил он, снимая шляпу, — а я вас узнал, даром что уже восемь лет минуло с тех пор, как я вас видел в последний раз. Вы были тогда ребенок. Я Лаврецкий. Матушка ваша дома? Можно ее видеть?

— Матушка будет очень рада, — возразила Лиза, — она слышала о вашем приезде.

— Ведь вас, кажется, зовут Елизаветой? — промолвил Лаврецкий, взбираясь по ступеням крыльца.

— Да.

— Я помню вас хорошо; у вас уже тогда было такое лицо, которого не забываешь; я вам тогда возил конфеты.

Лиза покраснела и подумала: какой он странный! Лаврецкий остановился на минуту в передней. Лиза вошла в гостиную, где раздавался голос и хохот Паншина; он сообщал какую-то городскую сплетню Марье Дмитриевне и Гедеоновскому, уже успевшим вернуться из сада, и сам громко смеялся тому, что рассказывал. При имени Лаврецкого Марья Дмитриевна вся всполошилась, побледнела и пошла к нему навстречу.

— Здравствуйте, здравствуйте, мой милый cousin!¹ — воскликнула она растянутым и почти слезливым голосом. — Как я рада вас видеть!

— Здравствуйте, моя добрая кузина, — возразил Лаврецкий и дружелюбно пожал ее протянутую руку. — Как вас господь милует?

— Садитесь, садитесь, мой дорогой Федор Иванович. Ах, как я рада! Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь, Лизу...

— Я уж сам отрекомендовался Лизавете Михайловне, — перебил ее Лаврецкий.

— Мсье Паншин... Сергей Петрович Гедеоновский... Да садитесь же! Гляжу на вас и, право, даже глазам не верю. Как здоровье ваше?

¹ Кузен (*фр.*).

— Как изволите видеть: процветаю. Да и вы, кузина, — как бы вас не сглазить, — не похудели в эти восемь лет.

— Как подумаешь, сколько времени не видались, — мечтательно промолвила Марья Дмитриевна. — Вы откуда теперь? Где вы оставили... то есть я хотела сказать, — торопливо подхватила она, — я хотела сказать, надолго ли вы к нам?

— Я приехал теперь из Берлина, — возразил Лаврецкий, — и завтра же отправляюсь в деревню — вероятно, надолго.

— Вы, конечно, в Лавриках жить будете?

— Нет, не в Лавриках; а есть у меня, верстах в двадцати пяти отсюда, деревушка; так я туда еду.

— Это деревушка, что вам от Глафиры Петровны досталась?

— Та самая.

— Помилуйте, Федор Иванович! У вас в Лавриках такой чудесный дом!

Лаврецкий чуть-чуть нахмурил брови.

— Да... но и в той деревушке есть флигелек; а мне пока больше ничего не нужно. Это место — для меня теперь самое удобное.

Марья Дмитриевна опять до того смешалась, что даже выпрямилась и руки развела. Паншин пришел ей на помощь и вступил в разговор с Лаврецким. Марья Дмитриевна успокоилась, опустилась на спинку кресел и лишь изредка вставляла свое словечко; но при этом так жалостливо глядела на своего гостя, так значительно вздыхала и так уныло покачивала головой, что тот наконец не вытерпел и довольно резко спросил ее: здорова ли она?

— Слава богу, — возразила Марья Дмитриевна, — а что?

— Так, мне показалось, что вам не по себе.

Марья Дмитриевна приняла вид достойный и несколько обиженный. «А коли так, — подумала она, — мне совершенно все равно; видно, тебе, мой батюшка, все как с гуся вода; иной бы с горя исчах, а тебя еще разнесло». Марья Дмитриевна сама с собой не церемонилась; вслух она говорила изящнее.

Лаврецкий действительно не походил на жертву рока. От его краснощекого, чисто русского лица, с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами, так и веяло степным здоровьем, крепкой, долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В одних только его глазах, голубых, навывкате и несколько неподвижных, замечалась не то задумчивость, не то усталость, и голос его звучал как-то слишком ровно.

Паншин между тем продолжал поддерживать разговор. Он навел речь на выгоды сахароварства, о котором недавно прочел две французские брошюры, и с спокойной скромностью принялся излагать их содержание, не упоминая, впрочем, о них ни единым словом.

— А ведь это Федя! — раздался вдруг в соседней комнате за полуоткрытой дверью голос Марфы Тимофеевны. — Федя, точно! — И старушка проворно вошла в гостиную. Лаврецкий не успел еще подняться со стула, как уж она обняла его. — Покажи-ка себя, покажи-ка, — промолвила она, отодвигаясь от его лица. — Э! Да какой же ты славный. Постарел, а не подурнел нисколько, право. Да

что ты руки у меня целуешь — ты меня самое целуй, коли тебе мои сморщенные щеки не противны. Небось не спросил обо мне: что, дескать, жива ли тетка? А ведь ты у меня на руках родился, пострел эдакой! Ну, да это все равно; где тебе было обо мне вспомнить! Только ты умница, что приехал. А что, мать моя, — прибавила она, обращаясь к Марье Дмитриевне, — угостила ты его чем-нибудь?

— Мне ничего не нужно, — поспешно проговорил Лаврецкий.

— Ну, хоть чаю напейся, мой батюшка. Господи Боже мой! Приехал невесть откуда, и чашки чаю ему не дадут. Лиза, пойди похлопочи, да поскорей. Я помню, маленький он был обжора страшный, да и теперь, должно быть, покушать любит.

— Мое почтение, Марфа Тимофеевна, — промолвил Паншин, приближаясь сбоку к расходившейся старушке и низко кланяясь.

— Извините меня, государь мой, — возразила Марфа Тимофеевна, — не заметила вас на радости. На мать ты свою похож стал, на голубушку, — продолжала она, снова обратившись к Лаврецкому, — только нос у тебя отцовский был, отцовским и остался. — Ну — и надолго ты к нам?

— Я завтра еду, тетушка.

— Куда?

— К себе, в Васильевское.

— Завтра?

— Завтра.

— Ну коли завтра, так завтра. С богом — тебе лучше знать. Только ты, смотри, зайди проститься. — Старушка потрепала его по щеке. — Не думала я дожидаться тебя; и не то чтоб я умирать

собиралась; нет — меня еще годов на десять, пожалуй, хватит: все мы, Пестовы, живучи; дед твой покойный, бывало, двужильными нас прозывал; да ведь господь тебя знал, сколько б ты еще за границей проболтался. Ну, а молодец ты, молодец; чай, по-прежнему десять пудов одной рукой поднимаешь? Твой батюшка покойный, извини, уж на что был вздорный, а хорошо сделал, что швейцарца тебе нанял; помнишь, вы с ним на кулачки бились; гимнастикой, что ли, это прозывается? Но, однако, что это я так раскудахталась; только господину Паншину (она никогда не называла его, как следовало, Пáншиным) рассуждать помешала. А впрочем, станемте-ка лучше чай пить; да на террасу пойдемте его, батюшку, пить; у нас сливки славные — не то что в ваших Лондонах да Парижах. Пойдемте, пойдемте, а ты, Федюша, дай мне руку. О! Да какая же она у тебя толстая! Небось с тобой не упадешь.

Все встали и отправились на террасу, за исключением Гедеоновского, который втихомолку удалился. Во все продолжение разговора Лаврецкого с хозяйкой дома, Паншиным и Марфой Тимофеевной он сидел в уголке, внимательно моргая и с детским любопытством вытянув губы: он спешил теперь разнести весть о новом госте по городу.

В тот же день, в одиннадцать часов вечера, вот что происходило в доме г-жи Калитиной. Внизу, на пороге гостиной, улучив удобное мгновение, Владимир Николаич прощался с Лизой и говорил ей, держа ее за руку: «Вы знаете, кто меня привлекает сюда; вы знаете, зачем я беспрестанно езжу в ваш дом; к чему тут слова, когда и так все ясно».

Лиза ничего не отвечала ему и, не улыбаясь, слегка приподняв брови и краснея, глядела на пол, но не отнимала своей руки; а наверху, в комнате Марфы Тимофеевны, при свете лампадки, висевшей перед тусклыми старинными образами, Лаврецкий сидел на креслах, облокотившись на колена и положив лицо на руки; старушка, стоя перед ним, изредка и молча гладила его по волосам. Более часу провел он у ней, простившись с хозяйкой дома; он почти ничего не сказал своей старинной доброй приятельнице, и она его не расспрашивала... Да и к чему было говорить, о чем расспрашивать? Она и так все понимала, она и так сочувствовала всему, чем переполнялось его сердце.

VIII

Федор Иванович Лаврецкий (мы должны попросить у читателя позволение перервать на время нить нашего рассказа) происходил от старинного дворянского племени. Родоначальник Лаврецких выехал в княжение Василия Темного из Пруссии и был пожалован двумястами четвертями земли в Бежецком верху. Многие из его потомков числились в разных службах, сидели под князьями и людьми именитыми на отдаленных воеводствах, но ни один из них не поднялся выше стольника и не приобрел значительного достояния. Богаче и замечательнее всех Лаврецких был родной прадед Федора Иваныча, Андрей, человек жестокий, дерзкий, умный и лукавый. До нынешнего дня не умолкла молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой. Он был очень толст и высок ростом, из лица смугл